

Александр Бестужев-Марлинский

Он был убит



Александр Бестужев-Марлинский

Он был убит

«Public Domain»

1835

Бестужев-Марлинский А. А.

Он был убит / А. А. Бестужев-Марлинский — «Public Domain», 1835

«Он был убит, бедный молодой человек! Убит наповал! Впереди всех бросился он на засаду – и назади всех остался; остался в тесном кружке храбрых, легших трупом с ним рядом. Я знал его отвагу, я знал быстроту коня его и, удивленный, не видя его перед собою, проникнут холодом страшного предчувствия, оглянулся назад: в дыму, окровавленном выстрелами, сверкнуло мне лицо друга; железная рука смерти на всем скаку осадил разгоряченного бегуна его; задернут, он стал на дыбы, и пораженный всадник падал с него, качаясь...»

Содержание

* * *	5
Отрывки	8
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Александр Александрович Бестужев-Марлинский Он был убит¹

*От праха взят, ты снова станешь
прахом!*

Но вечно ли? но весь ли я?

Мой взор,

Неведомым одолеваем страхом,

Таинственный читает приговор.

Ужели дух и мысли чада света

Не убегут тлетворного завета?

А. Б.

* * *

Он был убит, бедный молодой человек! Убит наповал! Впереди всех бросился он на засаду – и назади всех остался; остался в тесном кружке храбрых, легших трупом с ним рядом. Я знал его отвагу, я знал быстроту коня его и, удивленный, не видя его перед собою, проникнут холодом страшного предчувствия, оглянулся назад: в дыму, окровавленном выстрелами, сверкнуло мне лицо друга; железная рука смерти на всем скаку осадила разгоряченного бегуна его; задернут, он стал на дыбы, и пораженный всадник падал с него, качаясь. Я едва успел оборотить своего коня, едва успел сброситься с седла, чтобы принять на руки несчастного. Тихо опускаю его на землю, гляжу: глаза закатились, не слышит, не дышит он... Рву сюртук, раздираю на груди рубашку: нет надежды! Свинец пробил сердце навывлет, самое сердце!! И еще около пас свистали вражеские пули, еще «ура» и гром стрельбы раздирали воздух, но уж того, кем было начато это «ура», кто вызвал эти выстрелы, не стало. Быстрее пули умчался он, исчез кратче звука. Но и пролетный звук оживает хотя на миг в отголоске; неужели ж ты, прекрасная душа, не оставила по себе никакого следа? Ужели нет тебе на земле ни эха, ни тени?

Я с горькой тоской смотрел на убитого и думал: «Разве тень или отголосок души – это гордое, выразительное лицо, с которого кончина не успела еще стереть пылкого боевого румянца, сорвать улыбки бесстрашия? Но пусть пролежит на нем одна ночь, пусть только вампир – тление – насосет на нем багровые пятна, сомнет его своими ледяными перстами, и кто узнает тогда в обезображенном облике вчерашнего товарища? Через три дня это стройное тело, в котором только что гаснет теплота жизни, замирает биение силы, будет пиршеством червей и ужасом взоров».

Я освободил из оледеневшей руки мертвеца рукоять пашки; на клинке было написано имя того, кто за миг владел им.

И брус неприметно источит этот булат, и ржавчина догрызет остальное. Нет пощады ни мечу, ни руке, вращавшей его, ни имени того, кем был он страшен когда-то!

И потом, что такое имя? Павший лист между осенними листьями, волна между волнами океана, флаг тонущего корабля, который на минуту веется над бездною: мелькнул – и нет его! Забвение пожирает память, как смерть-существованье; но смерть есть только переход из одного бытия в другое, возрождение феникса² из пепла, а забвение – безымянная могила, свинцовый гроб, ничего не отдающий стихиям, бездонная и вечно несытая пасть ничтожества.

² Феникс – в древнегреческой мифологии птица, способная возрождаться из пепла после сожжения.

В газетах напечатают: «Такой-то, убитый в сражении против горцев, исключается из списков». Товарищи когда-нибудь вспомнят о нем между трубкою и стаканом. Потом и память умрет в них о погибшем, или сами они умрут и сгинут: вот и все!

Безотрадная истина!

Впрочем, не все имена тонут в забвении. Конечно, не все! Что ж из этого! Звезды имеют лучи вместо крыльев, чтоб перелетать бездны неба; слава на воздушном шаре переносит любимцев своих через море веков, но только любимцев, только баловней, а слава прихотлива, как женщина, и у ней, как у фортуны, завязаны глаза: друг мой не попался ей под руку; он не выслужил у нее ни железного венца Чингисхана³, ни петли Ваньки Каина⁴. Не успел он взять ее за себя как награду или похитить как добычу. Он был только добрый, благородный, умный человек, каких мало, и храбрый офицер, каких много. Он умер, он умрет весь.

Что же значит имя, сорванное смертью на самом востоке? Имя, ни разу не написанное кровью на знаменах или лучами на скрижалях законов? Имя, которое не таяло песнию на устах красавицы, которое не заставляло биться сердце юноши, не давало важных дум старику? Имя, которое не летало перуном, не горело звездой путеводною, не было пригвождено к столбу изумляющего позора? Словом, имя, никогда не утомлявшее всесветной или народной молвы? Что, если не звук, не возбуждающий мысли, иероглиф без значения, погребальная урна, из которой самый прах разнесен ветром!

Итак, бедный друг мой, ты осужден судьбою на забвение, на всегдашнее забвение! На ничтожество, на вечное ничтожество! Тяжело говорить прости мертвецу, но прощаться даже с памятью умершего, предавать его не только тлению земли, на которой он цвел, но забвению мира, которому он был краскою, – о, это ужасно, это несправедливо, сказал бы я, если б не веровал в будущую жизнь.

Правда, ничто не вечно на свете, – не вечен и самый свет. Постареет он и выживет из памяти, забудет знаменитых мужей давних времен. Одряхлеет, оледенеет, наконец, сам, и умрет после потомков своих: стихий, существ, деяний, мыслей, и долго будет спать сам без действия, одетый кладбищем природы, как саваном, покуда голос бога живого не воззовет его из лона смерти и, очистив купелью вод или пламени, не благословит на новую жизнь.

Не все ли ж равно искать земной славы, что желать упрочить свой образ на зеркальной поверхности мыльного пузыря? Он лопнет, и прощай портрет наш; свет разрушится, и над его развалинами погибнут все мечты, все произведения людей. Все божеское и человеческое сольется в одну неделимую, хаотическую толщу, над которою только око провидения прочтет надпись: «Припас для будущих миров».

И ты уже достиг до этого рокового равенства, погибший друг мой, равенства, которое как меч Дамокла грозит пасть на все живое⁵. Миг или миллион лет – одно для мертвецов. Время существует только для того, кто существует.

Ты сйончался для мира, и в тот же миг мир кончился для тебя, исчез со всеми своими радостями и обольщениями, – зато со всеми бедствиями и муками. Грезы счастья и величие не тревожат покоя могилы. Там есть черви, но нет змей; там разрушение совершается без терзаний.

Зачем же закинуто во все сердца желание продлить свое существование за черту смерти, повториться в детях, в деяниях, в мраморе, в бронзе, в подражании, в памяти друзей, в молве народной? Зачем ученый истощает жизнь свою над книгами, воин умирает на щите или свя-

³ Чингисхан Темучин (ок. 1155 – 1227 гг.) – основатель единого Монгольского государства, полководец.

⁴ Ванька Каин – известный московский вор, грабитель; в 1755 г. был приговорен к смертной казни, замененной каторгой; существовало много его жизнеописаний, иногда в форме автобиографии.

⁵ ...мечом Дамокла грозит пасть на все живое. – По древнегреческому преданию, сиракузский тиран Дионисий подвесил на конском волосе над головой завидовавшего ему Дамокла острый меч. Здесь: «дамоклов меч» – постоянно грозящая опасность.

той отшельник самоубийствует в пустыне плоть свою? Для чего, если не для памяти, не для славы? Под тысячами различных предлогов кроется это желание, но оно врождено человеку и всеобще всем народам, а и самые заблуждения человеческие непременно основаны на какой-нибудь затерянной, или неразгаданной, или худо понятой истине. Жажда славы есть потребность любви за гробом. Слава есть любовь настоящего к минувшему, любовь тем чистейшая, что она бескорыстна и справедлива, тем более дивная, что она оживляет своим дыханием пылинки пепла в искры вдохновения и рассыпает их с лучезарных крыльев своих в души потомков, как семена всего прекрасного, доброго и высокого. Чувствуете ли вы, сколько отрад-ной поэзии в этом томлении, в этой страсти человека к отдаленной, но дорогой взаимности не знаемых им поколений, родственных ему только по душе? сколько святости в неподкупном поклонении этих поколений памяти человека, от которого они уже не ждут ничего, кроме при-мера? И почему знать: может, эта живая, электрическая вязь, соединяющая мир прошлого с миром грядущего, скуется до самого неба и каждый раз, когда провидение допускает даль-них потомков прибавить несколько колец достойных подвигов или высоких мыслей к этой цепи воспоминания прежних достойных подвигов и прежних светлых открытий, – может быть, говорю я, эфирная часть умерших виновников, зачателей всего этого, где бы ни витала она, чувствует сладостное потрясение, венчающее и на земле райский миг творения.

Лестная мечта!..

Но неужели одному величию дано две жизни на этом свете? Ужели звон трубы только долетает до того света? А тайное горячее чувство любви, а никому не ведомое самоотверже-ние дружбы, а не подслушанные светом новые мысли погибнут, и навсегда, потому что они не были славны, не были громки? не повторятся ни одними устами? не отзовутся ни в чьем сердце? О нет, верно нет! Прекрасное, сильное, светлое – прекрасно, сильно, светло во всех размерах! Ты не исчезнешь без следа, без тени, без отголоска, благородный, несчастный друг! Горы Кавказа отражают грохот перунов и говор соловья. В море так же ясно видится вечное солнце, как и перелетная искра. В сердце человеческом есть струны для Байрона и для тебя, есть слезы для удивления и для участия. Я брошу в вихорь света немногие листки, вырванные из твоего дневника, как невольную дань твою свету, и счастлив я, если эти небрежные строки хоть на миг приманят к себе взор и душу красавицы, извлекут хоть один, но глубокий вздох из груди влюбленного! Вдвое счастлив, если это безмолвное сострастие сердец, кипучих жизнью, с сердцем, давно истлевшим, порадует тень твою или заставит вспыхнуть твою душу в новом бытии сладким пламенем, как вспыхивает пламя, когда брызнут на него ароматным маслом!..

Отрывки

...Хотят, чтоб я стал писателем! Но знают ли эти советники, как тяжело писать человеку с душою и для души? Знают ли, что дарование есть бытие автора и что он расточает для забавы света лучшие мгновения этого бытия, отравляя заботами остальные? пишут или из памяти, или из воображения; но что такое воображение, как не память, вскипяченная, улетученная пламенем сердца? А много ли красных дней насчитает в минувшем гордая, раздражительная душа любого писателя? Есть у него воспоминания – цветы, но есть и воспоминания – раны. И эти раны растрavляются, точат кровь, и опять горят, и мучительно ноют, когда срываешь с них перевязку забвения или равнодушия, когда беспощадный зонд любопытства проникает в их заветную глубину. Таковы раны, нанесенные рукою судьбы, жалом злобы или измены. Но легче ли раны от стрел любимых склонностей наших? Радостно ли вспомнить в беде об улетевших минутах блаженств, перегорать в одиночестве страстью к той, с которой уже давно разлучены и никогда не увидимся? Каково думать в жажде советов или утешений друга: «о, если бы он был теперь со мною!» и находить вместо его живительного взора в очах своих слезу о его гибели? Возьмись только за перо, вздумай только описать, что случилось когда-то с, тобою или могло сбыться с другими, – и все воспоминания подымутся толпой, званые и незваные, желанные и неожиданные, и станут перед тобой как духи, вызванные неопытным чародеем, который уже не в силах с ними совладеть. Озарены бледным месяцем минувшего, эти мертвецы начинают свою страшную, гальваническую пляску. Есть венки на их черепах, но они подернуты прахом могилы, они пахнут тлением. Есть улыбка, но она ползает как червяк по окостеневшим устам. Как заступ о гробовую крышку, звучит в живом сердце их голос; их ласки обливают морозом... И вы хотите, чтобы я играл костями и пел, подобно Гамлетовым гробокопам⁶? чтобы я писал портреты с мертвецов? чтобы я из пепла строил великолепные замки, был весел, когда мне хочется плакать, рассыпался в роскошных описаниях, когда существенность моя так бедна, когда у меня нет насущной крупинки радости? Всесильно, разнообразно воображение, когда оно творит из настоящего; но мутен и слаб ключ его, если он течет сквозь могилу.

Я сказал, есть воспоминания-цветы, но эти живые цветы любимых заблуждений и невинных грехов юности росли на сердце. Отрывая их с корня, чтобы перенести на бумагу, мы разрываем сердце, и ни свои, ни чужие слезы не оживят этих цветов теплого края под холодом светским, не заживят ран осиротелой почвы.

И свет назовет эту тяжкую исповедь сказкою, если автор облечет свои страсти в вымышленные имена, и не поверит ей, если он признается в бытине, под собственным. Свет так привык слышать и говорить ложь, что от него лучшая похвала гению – «как он мастерски прикидывается чем захочет! как искусно умеет скрывать или передразнивать все чувства!».

И свет думает, что писать историю сердца так же легко, как сплетать ябеды, как точить приветствия, как печатать ситец. О, если б люди могли, не говорю – почувствовать, не говорю – рассудить, но только разглядеть, что светильник тем скорее сгорает, чем более бросает искр и лучей вокруг, что сочинитель тратит душу свою в звуках, что, может быть, он пишет кровью и слезами и что на страницах, внушенных тоскою, еще трепещутся обрывки его сердца, как некогда трепетали куски Геркулесовой кожи⁷, напропитанной ядовитою мазью одежды, присланной ему коварною любовницею, – то, как ни себялюбивы они, как ни любопытны, как ни безжалостны люди во всем, что сулит им новую забаву или чудное потрясение, а решились бы

⁶ ...подобно Гамлетовым гробокопам? – Имеется в виду сцена с могильщиком в «Гамлете» (1601) В. Шекспира.

⁷ ...куски Геркулесовой кожи... – По греческой мифологии, жена Геркулеса из ревности послала ему плащ, пропитанный ядом. Чувствуя ужасную боль, срывая одежду и узнав о неизбежной смерти, Геркулес велел сжечь себя на костре, в результате чего вознесся в сонм олимпийских богов.

упросить поэта молчать, все еще жадничая его рассказов. Тяжело таить на сердце угли безнадежной любви и холодно улыбаться, внимать стону собственного сердца и в то же время слушать чужие нелепости, небрежно поправлять волосы, когда под ними кипят ядовитые думы, молчать, когда бушующие, воспламененные чувства готовы разорвать грудь и пролиться лавою признания; но еще тяжелее, гораздо тяжелее, ужаснее, выражать все это, с гневом, что не можем высказать души своей вполне, с опасением, что высказанное будет брошено в снег равнодушия или, что и того хуже, стоптано невежеством в грязь. И потом, чтобы говорить понятно людям, надо развешивать, соразмерять выражение своих чувств с их понятиями. Надо раболепствовать правилам языка, потворствовать моде, ползать у ног приличий, подбирать падежи и созвучия, когда бы я хотел выразить себя ревом льва, песнию вольного ветра, безмолвным укором зеркала, клятвою пожигающего взора, хотел бы пронзить громовою стрелою, увлечь бурным водопадом, – и чтобы эхо моей тоски роптало, стонало в душах слушателей, чтобы молния страстей моих раскаляла, плавила, сжигала их сердца, чтобы они безумствовали моею радостью и замерзали ужасом вместе со мною!

Не могу я так выражаться, а иначе не хочу: это бы значило пускаться в бег со скованными ногами.

Правда, бывают часы, бывают ночи, в которые полнота груди и головы душит, когда откровенность необходима как воздух, когда волею или неволею должен бываешь отдать тайны сердца и ума участию дружбы, сбросить их на ветер или на бумагу. Но пусть же пила и отвес правил никогда не касаются этих диких громад, в живописном беспорядке разбросанных, наваленных одна на другую! Как эти горы, изорванные волканами и потопами, рассеченные ущелиями и реками, возникают отрывчатые строфы невольной импровизации. Видите ли эту нагую, опаленную перунами, неприступную даже зелени скалу? Это печаль поэта: там гордая душа, как снежногровая гора, скрывает в облаках чело свое! Там, в глубине, кипит живой ключ юного чувства! Там, во тьме пещер, сверкают очи и зубы алчной гиены, – это совесть! Постойте: слышите ли, как пронзительно, как страшно раздается в этой пустыне одинокий и безответный вопль отчаяния?.. И сколько чудных, по диким, но и безыскусственных красот может представить слог, выброшенный прямо из души? Зато по нем пет стези для обыкновенного читателя. Его стремнины разлучены друг от друга на прыжок льва, на перелет орлиный. Такие руны разгадает лишь тот, кто начертал их. Лишь он может бродить мыслию по этим зубристым обломкам прежнего своего бытия – и душою отдыхать у надгробия собственного сердца!

Но сочинять для света!.. И еще для нынешнего света! Тяжкая служба. Имя сочинителя более требует наличными, нежели дает в обетах. Знают ли те, которые с таким добродушием верят похвалам приятелей и собственному самолюбию, и те, которые думают, что для того, чтобы сделаться писателем, нужна только чернильница и перо, – ведают ли они, сколько надо испытать, переувеселиться, передумать, поглотить учености, чтобы написать несколько страниц, достойных века и человека, достойных духа, который соединил в себе всю причудливость младенца и взыскательность старика? Чтобы расшевелить притупленный вкус, который не знает сам чего хочет, но все знает и всего хочет? Угодить, удовлетворить жадной страсти к новому, к пронзающему, к потрясающему, к чудесному? Надо целые скалы дарования, чтобы насытить хотя на миг этого прожорливого великана. Надо слез, реки слез, крови, море крови, чтобы упоить его до веселья. Его должно поранить, чтобы тронуть, испугать, чтобы убедить, поработить, чтобы ему понравиться. Надо быть невиданным зверем, или сверхъестественным лицом, или необыкновенным чертом, если желать увлечь за собой этого избалованного зеваку. Надо ограбить рай и ад, оборвать лучи с солнца и наслаждения с земли, стопить в одно все язвы Египта и все ужасы преступления, чтобы заманить и угостить его на славу. Но разве этот людоед птенец твой? брат твой? или друг он, что ты, как пеликан, разрываешь для него грудь и точишь кровь жизни? Нет, он твой враг природный, твой непримиримый враг. Он будет сме-

яться над тобой, поглощая твое же сердце, принесенное ему в гостинец, и выбросит собакам критикам объедки твоего полубожеского мозга.

Писать, печатать для света, предавать себя тиснению! Неужели не чувствуете вы предсказательного смысла этих слов? Тут в зерне таятся все мытарства, ожидающие дерзкого искателя людской похвалы. Вчерась он был властелином своих мечтаний, – потому что не пускал их в люди.

Сегодня напечатал их – и стал рабом своих слов. Он трепещет уже глупого смеха невежды и пошлых острот какого-нибудь чесоточного журналиста; трепещет лукавых толкований на свои невинные выходки. Стрелы, брошенные в воздух, падают ему на голову; друзья бегут как от клеветника; враги становятся гонителями. Еще вчерась он был отличный офицер, дельный чиновник, смысленный человек. Сегодня типографские тиски выжали из него все общественные достоинства. Он сочинитель! он поэт! Это значит: он никуда не годится. С этих пор благословение небес будет казнить его, как проклятие матери: на его блестящее имя станут вешать дурацкие шапки и черные небылицы. За милость разве будут звать его полоумным. Какие желчные мысли! Какие мрачные краски! Свет ветрен, но, право, не зол, – именно потому, что он ветрен, что ему некогда воспитать и взлелеять вражду. Более остры, чем колки, его суждения, и если он любит недолго, зато любит горячо. Пользуйся же его любовью, покуда не спала пена, будь халифом хотя на час⁸, упивайся рукоплесканиями и похвалами, играй вниманием модников, ревностью прекрасных. Ты не искал, а нашел все это: почему же не взять процентов радостями жизни с долгих лет учения, трудов, страстей и лишений? Сдайся на приглашения – и ты баловень лучшего общества, ты званый, желанный гость за столом знатных и в гостининых большого света!

Знаете ли ж вы, милостивые государи, что поэт, гость вельможи, есть уже слуга его, что поэт, гость высшего круга, – его игрушка?⁹ Неужели думаете вы, что я довольно прост или столько самолюбив, будто возмечтаю, что меня позовут для моих достоинств, а не для чужой забавы? Знатным хочется прослыть меценатами¹⁰ за дешевую цену; им любо посмеяться со мной или надо мной, потому что смех способствует пищеварению: и я, второй Исав, продам свое первородство за блюдо чечевицы¹¹? И я стану сыпать свой жемчуг под ноги зевающих невежд? Стану кувиркаться и служить на задних лапках и добиваться до ошейника с гербом того, чьи предки торговали оружием, когда мои были уже им славны? Подумали ли вы, что мне предлагаете? Не значит ли это – давать себя напоказ, как слона, откупоривающего бутылки, – с тою только разницею, что плату за это поднесут мне на фарфоровой тарелке, а не бросят в голову?

Правда, обаятельна атмосфера большого света? лепет гостинных игрищ, как музыка Россини¹². Но эти раззолоченные стены сложены из обломков Китайской стены¹³ самых вздорных предрассудков. Но этот скользкий паркет выложен причудливыми условиями; этот потолок расписан картинками мод, – и горе тому, кто решится покормить своею особою лакомое любопытство исключительных обывателей этого мира! Смешна будет его роля для других, жалка

⁸ ...будь халифом хотя на час... – «Халиф (калиф) на час» – так называют человека, на короткое время наделенного властью, – из арабских сказок «Тысяча и одна ночь».

⁹ ...поэт, гость вельможи, есть уже слуга его... гость высшего света, – его игрушка? – Речь идет о стихотворении Пушкина «К вельможе» (1830), адресованном князю Н. Б. Юсупову (1750 – 1831). Это стихотворение вызвало несправедливые нападки на Пушкина Н. А. Полевого на страницах «Московского телеграфа». Поэта обвиняли в низкопоклонстве перед знатью.

¹⁰ Меценат (лат.) – богатый покровитель наук и искусств, по имени римского богача, жившего в I в. до н. э., широко покровительствовавшего поэтам и художникам.

¹¹ ...я, второй Исав, продам свое первородство за блюдо чечевицы? – По библейскому преданию, Исав, старший сын патриарха Исаака, продал за чечевичную похлебку своему младшему брату-близнецу Иакову право первородства, дававшее особые преимущества. Здесь: за что-нибудь ничтожное отдано что-то очень ценное.

¹² Россини Джоаккино Антонио (1792 – 1868) – итальянский композитор.

¹³ ...из обломков Китайской стены... – Китайская стена в древности отделяла Китай от Монголии.

доля его для самого себя. Что принесет он в жертву этому египетскому богу, крокодилу, кроме ранних морщин лица и запоздалого покроя платья? Он не поймет языка, которым говорит мода; он не знает тех важных мелочей, которые составляют жизнь столицы, которые требуют целой жизни на изучение, – для того чтобы умереть отсталым школьником. И вот наш поэт в гостинной. И вот его встречают благосклонные взоры и ласковые улыбки. Это все наживки удочек, чтобы зацепить авторскую болтливость. И вот его потчуют пережеванными приветствиями, сводят на спор с каким-нибудь шутком, мистифируют в глаза, а чуть он за двери – давай расстреливать бедняжку вслед отравленными стрелками злословия.

– Какие допотопные приемы!

– Да-с, это древнее петербургского наводнения.

– Говорят, поэзия – язык богов, а вы из их семьи, графиня: удостойте перевести для нас, простых смертных, о чем говорил он.

– Я не химик, князь: не умею разлагать туманы.

– Мудрено ли, впрочем, графиня, что он так таинствен! *C'est une sommite litteraire*¹⁴, а верхушки гор всегда облечены туманами.

– Но это не мешает видеть, что все почти маковки оканчиваются плоскостями.

– Если не видеть, по крайней мере испытать. Все путешественники доказывают эту истину в лад.

– Скажите, ради имени Виктора Гюго, к какой школе принадлежит этот господчик? к горной или к озерной?¹⁵

– К болотной-с. Он родился на тундрах новгородских.

– Это и заметно. Он страх похож на водяную лилию, засохшую между листов латинского словаря.

– Вы ошибаетесь, барон: наш поэт вовсе не водян. Скажите лучше, он чересчур пылок, и вы скажете правду.

– Сухая трава быстро загорается; зато и гаснет вмиг.

– О нет, барон; поэт живет пламенем, которым сгорает. Если б послушали вы, сколько толковал он мне об искрах очей, о зареве страсти, о пожарах души!..

– Что я бы представил его в брандмайоры, не правда ли, княжна? Такой несгораемый человек, без проти-вуогненного прибора, – находка для пожарной команды.

– Смейтесь, смейтесь, а все-таки огонь – его стихия, и вдыхать пламень для него приятнее, чем для нас духи «Капризов Валерии».

– В таком случае позвольте его причислить к породе двуногих саламандр¹⁶, княжна!

– Вы предупреждены, барон: он давно состоит в списке редкостей и отпущен только в отпуск из кунсткамеры.¹⁷

И это еще цветки модного злословия. Еще тут нет ядовитых ягод, которые зреют для тебя при лучах восковых свечей и лунном свете ламп. Погоди немножко – и модный свет отнимет у тебя твой мирный уголок посещениями, твой вдохновенный досуг данью в альбомы, подточит веру во все прекрасное сомнением, отравит любовь твою догадками, ответит взаимность насмешками. А когда не удастся ему сделать тебя смешным, он ославит тебя опасным... и доведет до того, что ты, жадный прежде известности, станешь молить свет о полном забвении, как о самой драгоценной милости. И свет позабудет твое лицо, позабудет твои сочинения, позабудет

¹⁴ Это литературная вершина (фр.)

¹⁵ ...к какой школе принадлежит... к горной или озерной? – Здесь иронически говорится о группе известных английских романтиков начала XIX в., в которую входили Вордсворт, Кольридж, Саути. Ее называли «Озерной школой».

¹⁶ Саламандра – земноводная ящерица, по преданию, не горящая в огне. По средневековым поверьям, сказочные духи живут в огне и олицетворяют стихию огня.

¹⁷ Кунсткамера (нем.) – бессистемное собрание разнообразных редкостей, диковинок, а также помещение для такого собрания.

все, кроме твоего имени. И это имя обратит он в укор. «Ведь читали же когда-то этого *** ва!» – скажет он; или: «слава богу, такой-то схоронен на одной полке с Вальтер Скоттом!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.